

Гоголь, разумеется, и близко не мог тягаться с превосходящим эспером, а потому теперь, уподобившись пойманному за шкурку дикому мусангу, беспомощно висел в крепкой хватке Тургенева.

— Ладно, ладно... Уговор дороже денег, — проворчал Гоголь, послушно швырнув свой длинный плащ прямо в небо.

Сказать по правде, затея развлечься с Фёдором провалилась, да и возможности полюбоваться миром с высоты божественного величия его лишили, так что былой задор быстро угас.

Широкий плащ взмыл ввысь, мгновенно увеличившись в размерах, и накрыл их с головой. Нахлынуло зыбкое, тревожное чувство пространственного сдвига, но оно почти сразу рассеялось. Перед глазами предстали новые лица.

— Давненько не виделись, — великодушно и открыто поприветствовал прибывших Толстой. Рядом с ним один человек безучастно лежал в траве, а другой — неподвижно застыл на ногах.

Опомнившись, Тургенев перевёл хмурый взгляд с Полины на притихшего Аль-Хайтама. В этот момент до него наконец дошло, что его самым бессовестным образом обвели вокруг пальца, устроив этот заговор на троих.

— И о чём нам, скажи на милость, разговаривать? — Тургенев всё же сумел сдержать закипающий гнев. Присев на поваленный ствол напротив старого друга, он мысленно признал: побег не удался, и этот разговор действительно назрел.

— Время не пощадило никого из нас, мой дорогой друг, — Толстой улынулся — мягко, с непривычной для него лёгкостью. Он понимал: раз старый товарищ согласился присесть, значит, лёд тронулся и тот готов его выслушать.

Аль-Хайтам молча кивнул великому писателю и, жестом увлекая за собой Фёдора, зашагал прочь. Ему тоже необходимо было поговорить с мальчиком с глазу на глаз.

Их беседа едва ли походила на привычный чинный диспут. Скорее это было состязание умов, где обвинитель и ответчик уживались в одном лице.

— Обладать эсперским даром — значит нести в себе печать первородного греха, — неторопливо начал Фёдор.

Торопиться с возражениями не следовало: Фёдор умел обосновывать самые спорные свои убеждения с пугающей убедительностью.

— Когда-то давно люди не знали подобных сил. Общественный порядок строился веками, а редкие исключения в лице заплутавших эсперов не могли пошатнуть его устои.

Но вечность уступила место дню сегодняшнему.

— В какой-то момент число одарённых начало стремительно расти. И у некоторых из них неизбежно зародился соблазн подчинить себе этот хрупкий мир с помощью неожиданного могущества.

"Почему те, кто слабее, смеют править мной? Почему я, наделённый силой, обязан сковывать себя цепями чужих законов?"

— Одержимые этой гордыней, они объявили войну устоявшемуся порядку и простым людям. И пламя раздора запылало, охватив каждый уголок нашей земли. Одарённые возненавидели простых людей за их дерзкую попытку сдерживать исполинов. Обыватели же возненавидели эсперов, видя в них лишь жестоких палачей, которым капризная судьба вложила в руки карающий меч.

— Владеть силой и не ведать удержки — всё равно что дать заряженное ружьё капризному ребёнку, не способному отличить добро от зла. Он станет палить без разбору, утоляя минутный гнев на беззащитных жертвах.

Обрести великий дар и при этом отречься от всякого порядка — значит добровольно обречь себя на муки. Это прямой путь к саморазрушению. Но хуже всего то, что, уходя во тьму, такие безумцы готовы утащить за собой всю вселенную.

— Но сам по себе дар не несёт в себе гибели, — Аль-Хайтам едва заметно покачал головой. — Наличие способностей — ещё не грех. Чтобы судить о вине человека, требуются неопровержимые доказательства его деяний, а не сам факт его существования.

Он говорил размеренно, тщательно взвешивая каждое слово.

— Порочный человек останется порочным, даже будучи немощным. А благородный муж, обретя силу, лишь укрепится в желании помогать другим. Нельзя судить о порочности всех эсперов по числу жертв, оставленных на совести немногих безумцев.

— Одарённые стали лишь главными фигурами в этой трагедии, но отнюдь не её сценаристами. Взгляните на правителей: у руля большинства великих держав стоят обычные люди, обделённые всяким даром. Они могут заискивать перед эсперами, но на деле лишь используют их как послушные инструменты. Эсперы для них — живое оружие. Не будь их, владыки вели бы войны с помощью мечей, пушек или пороха.

Учёный не отрицал, что способности послужили удобной искрой для этого пожара, но стричь всех под одну гребёнку казалось ему недопустимой глупостью.

— И всё же они сеют смерть и разрушение. Намеренно или нет, — тихо, но твёрдо возразил

Фёдор.

В его памяти всплыл чистый образ Сонечки. Её помыслы были полны кротости и милосердия, однако её всепрощение лишь развязало руки её порочным родителям, подтолкнув их к окончательному падению. И пусть мысль о Сонечке на мгновение заставила его поколебаться, Фёдор упрямо твердил себе, что эта девочка — лишь крупца света, исключение, не способное изменить общую беспросветную картину.

— Всему виной человеческая алчность, — парировал Аль-Хайтам. — Замени слово «дар» на «богатство», «высокий чин» или «власть» — и твоё уравнение сойдётся в точности. Эсперы — лишь малая часть этого мира. Абсолютное большинство составляют простые люди, которые изо дня в день борются за право жить. И считать их безликой массой, безмолвными муравьями лишь из-за чьего-то превосходства... Не слишком ли это самонадеянно?

Человеческое сердце... Секретарь Академии прекрасно знал, насколько оно изменчиво и непредсказуемо. Он никогда не стремился подчинить себе чужие души, ведь даже укрощение собственного разума — это великий труд длиною в жизнь.

—... Я этого не видел. Вам меня не убедить.

Фёдор пристально посмотрел на него. Он отказывался верить красивым речам, доверяя лишь тому, что познал на собственном горьком опыте.

— Скоро ты всё увидишь своими глазами. Но этот путь ты пройдёшь уже не со мной.

Аль-Хайтам перевёл взгляд на стоящего поодаль Толстого. Сам он не располагал ни временем, ни душевным теплом, чтобы без остатка посвятить себя этой суровой, замёрзшей земле. А вот у великого писателя этого пламени было в избытке.

— Ступай за ним. Он покажет тебе то, чего ты никогда не замечал.

Взгляни, как над бескрайними ледяными просторами разгорается пламя, как первые лучи рассвета согревают застывшую землю. А после подумай, не слишком ли твои суждения узки перед лицом огромного мира.

Первое правило истинного учёного — выйти за рамки привычного уюта, чтобы исследовать неизведанные механизмы, древние руины и забытые цивилизации. Именно эту простую истину Аль-Хайтам стремился передать мальчику перед уходом.

— Вы уходите? — в глазах Фёдора промелькнуло искреннее недоумение.

— Моё время вышло, — спокойно ответил секретарь.

Их соглашение было исполнено. Передав мальчика под опеку Толстого, Аль-Хайтам лишил Фёдора всякой возможности направить свой острый ум во вред этому миру.

Он поднялся с места. Аль-Хайтам растаял столь же бесшумно и незаметно, как и появился, оставив после себя лишь облачко бледно-розовой дымки да погружённого в глубокое смятение ребёнка.

Луна долго боролась с наступающим рассветом, но в конце концов уступила место золотому солнцу, медленно поднимавшемуся над горизонтом. Тёплые лучи коснулись остывшей земли. Опершись спиной о холодный парапет, Фёдор растерянно смотрел на разгорающийся восток.

Этот необычный наставник появился внезапно и ушёл без долгих прощаний, бросив его наедине с неразрешимыми вопросами.

— Идём, Фёдор. Теперь ты под моим присмотром, — Толстой приблизился к нему вместе со своими спутниками, завершив тяжёлый разговор с Тургеневым.

Каменный замок вокруг них уже начал осыпаться пылью — верный знак того, что морок рассеивается и Москва вот-вот вернётся к своему обычному ритму.

—... Хорошо, — тихо выдохнул Фёдор.

Что ж, пусть он сам, своими глазами увидит этот рассвет, сотворённый трудом человеческим. И, возможно, обретёт мир с этой землёй.

Записи Фёдора Достоевского

Я присоединился к сторонникам Толстого, хотя душу мою по-прежнему терзали глубокие сомнения.

Лев Николаевич оказался наставником суровым и непреклонным. Первым же делом он применил свой эсперский дар, сковав и усыпив бунтующее во мне «Преступление и наказание».

Чувствовал ли я себя уязвлённым? Пожалуй. Я никогда не питал нежных чувств к этой силе, но прекрасно понимал, что лишился своего главного и единственного оружия.

— В моих рядах детям на поле боя не место, — отрезал Толстой, с лёгкостью прочитав мои потаённые мысли.

В моих глазах этот человек казался удивительным сплавом жёсткого реализма и чистой детской наивности. Трудно вообразить, как эти крайности уживались в одной груди, но это было неоспоримым фактом.

Он трезво видел всю грязь и несправедливость нашего общества, но в то же время бережно хранил веру в светлое будущее, отлично зная, насколько оно недостижимо. Поразительная личность.

Меня не держали взаперти. Время от времени Лев Николаевич брал меня с собой.

Я безмолвной тенью стоял в сторонке, наблюдая за нескончаемыми спорами, за тем, как восторженные молодые люди размахивали знамёнами и выкрикивали звучные лозунги. Я собственными глазами видел, как вершилась история, которую они величали революцией.

И это казалось мне ещё более странным. Мир вокруг был безнадёжно испорчен, но эти безумцы раз за разом пытались исправить то, что исправить невозможно.

В те часы, когда моё присутствие было излишним, Толстой оставлял меня в издательстве.

От прежней полуразрушенной конторки не осталось и следа. С тех пор как к делу примкнули двое превосходящих эсперов, издательство расцвело и приобрело солидный вес.

Ума не приложу, как два столь занятых человека находили время для творчества, но казалось, будто бесконечная государственная суета лишь подпитывала их вдохновение.

Со временем к нам начали стекаться новые лица. Из тех, чьи имена врезались мне в память, были Чехов, Пушкин, Шолохов...

Глядя на них, я постепенно осознал одну простую истину: человеческая мысль всегда пускает корни там, где острее всего ощущается собственное бессилие. Как и их старшие товарищи, эти литераторы изливали свои чаяния и тревоги на бумагу, создавая на страницах книг те миры, которых им так не хватало в реальности.

Впрочем, даже в этой сонной обители находилось место развлечениям. Моей излюбленной забавой было наблюдать за тем, как Михаилу Булгакову в очередной раз возвращают исчерпанную отказами рукопись, и подтрунивать над ним вместе с Гоголем.

Николая тоже притащили сюда — Тургенев доставил его прямиком в наши стены, запечатав его дар точно так же, как Толстой поступил с моим.

Он по-прежнему бредил идеей меня прикончить, но меня это мало заботило. Стоило ему предпринять хоть какую-то попытку, как вся наша честная компания эсперов-литераторов тут же бросала перья и обступала нас плотным кольцом. Они с ухмылками принимались обсуждать

его "дилетантский" подход, уверяя, что план шит белыми нитками, а исполнение не выдерживает никакой критики.

В конце концов Гоголь страшно обиделся, ушёл в балаган и напросился в ученики к какому-то заезжему фокуснику, поклявшись явить нам такое представление, от которого у всех челюсти отвиснут.

— Мадемуазель Полина, вам не страшно находиться среди нас? Ведь вы здесь едва ли не единственный человек, обделённый силой, — спросил я как-то у нашей хозяйки, чья природа балансировала на тонкой грани между эсперским миром и обыденностью.

— Ничуть, — с лёгкой улыбкой ответила она. — Поверьте, я и сама умею постоять за себя.

Что ж, ещё одна загадочная душа в нашей коллекции.

Когда Толстой уводил меня по вечерам, он как-то вскользь поинтересовался моим мнением об издательстве.

— Оно похоже на убежище, — ответил я честно, не видя смысла лукавить. — Место, где можно просто укрыться от бурь.

— Иметь такое пристанище — великое благо, — мягко отозвался Лев Николаевич.

Хотя меня не покидало ощущение, что Толстой использует это место как вербовочный пункт. Стоило писателям побеседовать с ним подольше, как они один за другим добровольно отправлялись за бланками Специального отдела по делам эсперов, чтобы наняться туда на службу.

Не прошло и года, а вокруг изменилось решительно всё.

Вместе с моим наставником я исколесил множество дорог: мы побывали в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. И повсюду я видел следы этих неспешных, но глубоких перемен.

Эти бескрайние, дышащие вековым безмолвием просторы внушали мне невольный трепет. Когда стоишь на самом краю пустынной границы, где нет ни единой живой души, внутри рождается странное, незнакомое мне чувство уязвимости перед величием природы.

— Скажи, Фёдор, ты всё ещё веришь в Бога? — спросил меня однажды Толстой, указывая на крестьян, которые прежде лишь истово молились, но теперь наконец взяли за плуг и научились сами добывать свой хлеб.

— Нет, — покачал я головой.

Если бы от Творца был толк, людям не пришлось бы преображать эту землю собственными руками. Пожалуй, это было самое ценное, что я вынес из наших странствий.

— В таком случае, мне пора вернуть тебе твою силу, — Толстой положил широкую тёплую ладонь мне на плечо.

И в то же мгновение в моей голове, нарушив долгую благословенную тишину, вновь зазвучал до боли знакомый, вкрадчивый шёпот.

Ах, да. Я ведь и позабыл, что я — эспер.

"Замолчите", — мысленно приказал я голосам.

Они были невыносимо, оглушительно шумными.

Я по-прежнему питал глубокое отвращение к способностям. Но отныне — исключительно к своей собственной.

"Интересно, мой неуловимый учитель, каким я предстану перед вами при нашей следующей встрече? Пожалуй, этого не знаю даже я сам"

<http://bllate.org/book/18256/1755716>